
Анна Ветрова
7 шагов до рассвета
Пепел и рассвет
Книга 1

Анна Ветрова

7 шагов до рассвета: Пепел и рассвет (книга 1)

«Автор»
2026

Ветрова А.

7 шагов до рассвета: Пепел и рассвет (книга 1) / А. Ветрова — «Автор», 2026

Алиса на тридцать девятой неделе беременности лежит без сна в душной августовской квартире, считая движения дочери. Она не знает, что через несколько часов её мир расколется на «до» и «после» — и что виноватой она будет считать только себя.Одна ночь. Три часа молчания. Одно несказанное слово — и белый коридор, потолок с пятном в форме Африки, чужие руки, забирающие самое дорогое.Это роман о том, как любовь не выдерживает горя, если её не слышат. О мужчине, который по ночам ездит на кладбище и разговаривает с дочерью, пока жена подозревает его в измене. О бабушке, которая уходит, оставив письмо, способное сорвать замок с самых окаменевших рёбер. О подруге, которая боится своего счастья рядом с чужим горем. И о человеке с компасом на запястье, который не станет говорить «ты не виновата», потому что слышит — а иногда это важнее.Пепел — это то, что остаётся после пожара. Рассвет — это то, ради чего стоит дождаться.

© Ветрова А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Девять месяцев 6
Глава 2. Якорная 10
Глава 3. Гроза 15
Глава 4. Белый коридор 20
Глава 5. Потолок 24
Глава 6. Выписка 28
Глава 7. Правильные слова 32
Глава 8. Ключ 35
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Анна Ветрова
7 шагов до рассвета:
Пепел и рассвет (книга 1)

ЧАСТЬ I. «РОДЫ»

Глава 1. Девять месяцев

В пять утра вентилятор под потолком гонял по спальне ту же горячую кашу, что и вечером. Алиса лежала на левом боку, с подушкой между колен и второй под животом, и смотрела, как лопасти режут на ломти серый рассвет. Спать было нельзя. Не то чтобы совсем: она проваливалась минут на двадцать, а потом поясница будила её тупым, ровным нытьём, как зубной врач, который никуда не торопится.

Тридцать девять недель и четыре дня. Она знала это число так, как люди знают номер своей квартиры.

Ноги стали чужими. Щиколотки раздулись и блестели, кожа на них натянулась, и когда она вчера вечером нажала пальцем, ямка не разгладилась до самой «Спокойной ночи, малыши». Грудь налилась и ныла. Ночная рубашка, мужская, Максимова, серая, с вытянутым воротом, липла к спине. Волосы она собрала в такой пучок, что он держался на одной вере. Из зеркала в шкафу на неё смотрела сонная тётка с зелёными глазами в тёмных кругах. «Ну здравствуй, — подумала Алиса. — Ты ещё кто?»

Живот лежал рядом с ней отдельным существом. Большой, тугой, с тёмной ниточкой посередине. Она положила на него ладонь и стала ждать.

Раньше ждать приходилось недолго. Дочь вела себя как жилец с плохими манерами: ночью, часа в два, давала пяткой под рёбра, потом устраивала внутри какую-то перестановку мебели, и по коже перекатывалась живая волна. Максим, увидев это впервые, сел на край кровати и сказал шёпотом: «Она там что, танцует?»

Сейчас ладонь лежала на тёплом, и ничего не происходило.

Потом, слабо, где-то слева, шевельнулось. Медленно, лениво, будто кто-то во сне перевернулся на другой бок под тяжёлым одеялом. Алиса выдохнула. «Тесно, — сказала она себе. — Голова уже внизу, места нет, жара. Я бы тоже на её месте не плясала».

Она решила считать. Десять движений за два часа, так написано в брошюре, которую Кира подсунула ей в июне вместе с банкой солёных огурцов. Начала считать, дошла до трёх и задремала. Проснулась от скрипа.

В дверях стоял Максим с подносом.

Она не сразу его узнала. Не потому что он изменился, а потому что смотрела на него снизу и против света, а он стоял в дверном проёме, огромный, взъерошенный, в помятой серой футболке и домашних штанах, и держал поднос двумя руками, как держат что-то хрупкое и очень дорогое. На подносе дымился чай в её любимой синей кружке, а рядом лежал персик. Один. Крупный, с розовым бархатным боком.

— Ты не спал, — сказала Алиса.

— Спал.

— Максим.

— Часа два. Три. — Он поставил поднос на тумбочку, и она разглядела его лицо при дневном свете: красные веки, щетина, которую он не брил уже дня три, и серо-голубые глаза, из которых выцвело всё, кроме настороженности. Белый шрам над левой бровью казался на потемневшей коже ярче обычного. — Я слышал, как ты ворочаешься. Решил, что чай не повредит.

— Ты слышал, как я ворочаюсь, потому что сам не спал.

— Одно другому не мешает.

Он сел на край кровати. Матрас чуть просел, и Алису тихо подкатило к нему, как лодку к причалу. Он очистил для неё персик перочинным ножом, одной длинной лентой, не отрывая лезвия, и протянул дольку на ладони. Сок стекал по запястью, по шраму у основания большого пальца. Она взяла, и во рту стало прохладно и сладко так, что захотелось плакать. Всё в

последнее время хотелось плакать: от персиков, от рекламы стирального порошка, от того, как он вчера пытался собрать пеленальный столик и ругался вполголоса на шурупы.

— Сумка стоит? — спросила она.

— Стоит.

— Ты её проверял.

— Один раз.

— Максим.

— Ну, три, — признался он. — Документы, обменная карта, зарядка, халат, тапки, носки, детское… Кира просила добавить маленькие носочки, я добавил. Всё лежит.

Сумка стояла у входной двери с середины июля. Тёмно-синяя, спортивная, раздутая, как перекормленный бегемот. Она торчала там, и каждый раз, когда Алиса проходила мимо, внутри что-то ёкало, потому что сумка была как билет на поезд, который вот-вот тронется. А маршрут, надо отдать ему должное, Максим выучил лучше расписания электричек. От дома до клиники на Набережной четырнадцать минут ночью и двадцать две в час пик. Запасной путь по Рыбачьей, на случай ремонта на мосту. Запасной запасной, через рынок. Он проехал все три в воскресенье, молча, с секундомером в телефоне, и вернулся с видом человека, закончившего боевую операцию.

— Ты у меня такой педант, — сказала она с набитым ртом.

— Я у тебя такой испуганный.

Он сказал это вдруг, ровно, не глядя на неё, а глядя на персиковую косточку в своей руке. И замолчал. Алиса увидела, как у него дёрнулся мускул на скуле.

— Эй.

— Всё нормально.

— Максим.

— Я сказал, нормально. Врач говорит, всё идёт как надо. Давление сто двадцать на восемьдесят. Сердечко слышно. — Он поднял на неё глаза и попытался улыбнуться. Получилось криво. — Просто я не умею ждать. Я привык, что если что-то сломалось, его можно взять и починить. А тут…

— А тут надо сидеть и ждать, пока она сама.

— Угу.

— Иди сюда, — сказала Алиса.

Он лёг рядом поверх одеяла, неловко, длинный, не зная, куда девать ноги. Она переложила его ладонь себе на живот. Рука у него была горячая и чуть дрожала. Потом он без слов потянулся и осторожно, по-максимовски обстоятельно, поднял край её рубашки. Кожа живота натянулась и блестела, по ней разбегались тонкие серебристые следы. Алиса хотела отвернуться и не отвернулась. Он смотрел на них так, как смотрел на лучшие картины в своей галерее.

— Привет, Нина Максимовна, — сказал он животу вполголоса. — Это папа. Я тут докладываю обстановку. Мама не спит третью ночь, и я считаю, что это неуважение к старшим.

Она засмеялась, и живот под его ладонью заколыхался.

— Видишь? Слышит. Вот. Давай договоримся. Ты выходишь, когда будешь готова, но без драм. Без ночных гроз, без пробок. Часов в одиннадцать утра, в среду, ладно? Когда я свободен.

— У тебя по средам планёрка.

— Отменю.

Он наклонился и поцеловал её живот, там, где кожа была теплее всего. Раз, потом второй, чуть ниже, потом ещё, и губы его были мягкие и шершавые от щетины, и от этого по бёдрам у Алисы побежали мурашки, нелепые, неуместные при её-то слоновьих щиколотках. Она запустила пальцы ему в волосы. Он поднял голову.

— Не смотри так, — сказал он. — Мне нельзя. Врач запретил. Я всё соблюдаю.

— Я вообще ничего не сказала.

— У тебя на лице всё написано.

— У меня на лице написано «хочу лечь на живот», что физически невозможно, так что заткнись и поцелуй меня нормально.

Он поцеловал. Медленно, бережно, так, будто она была из стекла. И пока он целовал, у неё впервые за ночь отпустило поясницу, и она подумала: вот. Вот оно. Ради этого стоит терпеть, и жару, и страх, и ноги.

Потом он вдруг сказал:

— Хочешь посмотреть?

Она поняла, о чём он. Они ходили туда каждый день, как в часовню.

Детская была в конце коридора. Дверь стояла открытой. Комната с широким окном на юг, куда в это время дня уже вплывало солнце, и стены, нежно-жёлтые, сливочные, цвета сливочного масла, которое оставили на столе в июле. Белая кроватка из светлого дерева с бортиком, на который Максим вчера в сотый раз проверил, надёжно ли держатся винты. Над ней мобиль: семь белых чаек из войлока на тонких проволочках, и в тёплой струе вентилятора они медленно кружились, не сталкиваясь. Комод с аккуратными стопками пелёнок. Крошечные белые носки, каждый размером с её большой палец. Плюшевый медведь на подоконнике, чуть облысевший, потому что ему пятнадцать лет и до этого он жил у Максима на полке. «Я его вам одолжу, — сказал он, когда принёс его. — Он надёжный. Он всю мою юность слушал».

Она стояла в дверях, придерживаясь за косяк, и смотрела на это, как смотрят на карту страны, в которую собираются ехать, и не верят, что она настоящая.

— Нина, — сказала она вслух.

— Нина.

— Как думаешь, она будет похожа на бабушку?

— Она будет похожа на всех. — Максим встал рядом. — У неё будет твой нос, моя упёртость и бабушкин язык. Нам несдобровать.

Алиса подошла и коснулась одной из чаек. Войлок был тёплый, чуть шершавый. Чайка качнулась, и вся стая закачалась следом.

— Я боюсь, — сказала она. Просто так, не планируя.

— Чего?

— Что не умею. Что возьму её на руки и… не пойму, что делать.

— Никто не умеет, — сказал он. — Сразу. Это не экзамен.

— Тебе-то откуда знать?

— Ниоткуда. — Он обнял её сзади, подбородком в макушку, и они стояли и смотрели, как кружатся чайки. — Но Нина Сергеевна говорит, что ты справишься, а Нина Сергеевна ещё не ошибалась.

«Нина Сергеевна, — подумала Алиса, — не ошибалась, потому что никогда не признавала ошибок».

Она хотела улыбнуться и вдруг вспомнила ладонь на животе. Как ждала и как шевельнулось слабо, лениво, только раз. Она открыла рот.

Он стоял за её спиной, тёплый, пахнущий кедром, кофе и персиковым соком, и ждал, что она скажет. Весь был рядом: дыхание в её волосах, рука на ребре. Она представила, как его пальцы сожмутся. Как он побледнеет и без раздумий схватит сумку и потащит её в клинику, среди бела дня, в жару, и там всё окажется в порядке, а она выставит себя трусихой и накрутит его так, что он не сомкнёт глаз до родов. Он и так не спал.

«Просто жарко, — сказала она себе. — Просто тесно. Просто последние дни».

— Что? — спросил Максим.

— Ничего. Вкусный персик.

Он засмеялся ей в затылок, довольный, как мальчишка. А она стояла и смотрела на чаек. Она не знала, что эти несколько слов, оставшиеся у неё на языке вместе с сахарной сладостью персика, станут тяжелее всего, что она потом скажет в жизни.

Глава 2. Якорная

— Положи, — сказала Соня.

Алиса замерла с подрамником в руках. Соня стояла в дверях подсобки, тоненькая, в мужской рубашке с закатанными рукавами, с камерой на шее и с пятном белил на скуле. Говорила она редко и всегда так, будто платила за каждое слово из своего кармана. Сейчас карман, судя по лицу, был открыт настежь.

— Он лёгкий.

— Положи.

— Соня, я беременная, а не парализованная.

— Ты огромная, — сказала Соня и забрала подрамник. Осторожно, как берут из рук ребёнка. Потом подтащила к дубовому столу табуретку с подушкой, которой там вчера не было, и кивнула на неё подбородком. Сидеть.

Алиса села. Табуретка скрипнула и приняла её с покорностью, какая бывает у вещей, давно привыкших к хозяйке. На столе лежал вычищенный пейзаж с рыбаками, дожидавшийся лака. На мольберте стояла готовая икона Святого Николая, которую неделю назад отнесли в церковь, а теперь вместо неё там красовался портрет купчихи в трёх слоях старой олифы. Купчиха смотрела на Алису с обидой. «Не успею я тебя закончить, — подумала Алиса. — Придётся тебе подождать. Все подождут».

— Я с завтрашнего дня в отпуске, — сказала она.

Соня промолчала.

— Список заказов на двери. Ключи у тебя. Если звонить будут из галереи, говори Стасу, он знает. Если из церкви, то…

— Я знаю.

— Ты фотографируй всё, что делаешь, я потом посмотрю.

— Я знаю, — повторила Соня. Она уже навела камеру на Алису, и щёлкнуло. Один раз, без предупреждения. — Ты хорошо сидишь.

— Я сижу как мешок с картошкой.

— Хорошо сидишь, — упрямо повторила Соня и опустила камеру. Уши у неё порозовели.

Алиса вдруг поняла, что сейчас расплачется. Прямо тут, над вычищенными рыбаками. От слова «хорошо», сказанного молчаливой девчонкой, которая когда-то пришла к ней с портфолио и с лицом человека, ждущего, что его выгонят. Она быстро вытерла глаза тыльной стороной ладони, закрепила на столе скипидарную банку (зачем, ведь не работала) и сказала:

— Ладно. Я к бабушке.

В подъезде пахло мышами и нагретой штукатуркой. Лестница на второй этаж была крутая, старая, с выщербленными ступенями, и она брала её, как гору: по две секунды на ступеньку, ладонью по перилам, ртом выдыхая. На площадке остановилась и прислонилась лбом к прохладной стене. Сверху тянуло лавандой и чем-то сладким, вишнёвым, и от этого запаха, домашнего до слёз, поясницу вдруг отпустило.

Дверь была открыта. Нина никогда не запирала её днём.

— Алисонька! — донеслось с кухни. — Не ходи по сквозняку, у меня тут окна нараспашку, а ты, как кактус, любишь тепло!

— Ба, на улице тридцать два!

— Тридцать два у вас. А у меня сквозняк.

Нина Сергеевна сидела за столом, застеленным клеёнкой в лимонах. Сухонькая, прямая, в вязаной шали, наброшенной на плечи, несмотря на жару. Волосы убраны в седой пучок, из которого, как всегда, выбилась одна прядь и кокетливо лежала на щеке. Серые глаза живые,

цепкие. На ногтях свежий бледно-розовый лак, чуть заехавший за край: она красила их сама, а руки у неё в последние месяцы стали не те. На тарелке перед ней остывал пирог с вишней, прикрытый вафельным полотенцем.

— Садись. Ешь. Я тебя, как печку, топить буду.

— Ба, я только что завтракала.

— Это был не завтрак, это были нервы. Садись.

Алиса села. Нина поставила перед ней чай в чашке с отколотым краем, медная ложечка звякнула о блюдце. На подоконнике, рядом с геранью, лежал раскрытый учебник, исчерканный карандашом, и на странице красным было выведено: «It's a piece of cake».

— Это про пирог? — спросила Алиса.

— Это про лёгкость, детка. Англичане говорят «кусок пирога», когда что-то делается без труда. Савелий Маркович объяснил. Я теперь произношу. Ит-с э пис оф кейк. Слышишь, как прилично? Скоро в Лондон поеду, королеве рецепт отвезу.

— А королева что?

— Королева скажет: «Какая замечательная женщина, а давайте в Букингемском дворце выкопаем грядки».

Алиса засмеялась так, что вишнёвая крошка вылетела на клеёнку. Нина удовлетворённо кивнула, сняла вафельное полотенце с пирога и вдруг остановилась. Рука её чуть заметно ушла к груди и там замерла, прижатая к шали. Лицо стало на секунду неподвижным и серым, как мокрый камень. Потом она медленно, будто нечего и скрывать, выдохнула.

— Ба?

— Лестницу вчера мыла. Притомилась.

— Ты мыла лестницу? Нина Сергеевна, у нас Тамара есть, у нас…

— Тамара моет громко, а я тихо. — Нина встала, придерживаясь за столешницу, чуть дольше, чем нужно, подошла к комоду и, пока Алиса отвернулась за вторым куском, что-то быстро достала из-под клеёнки. Бело-синяя упаковка. Две таблетки, которые она запила остывшим чаем, закрыв ладонью, как вор. Алиса всё это увидела краем глаза, как видят чужой сон.

— Что это?

— Витамины. Для памяти. Старухе нужно. — Нина обернулась с самым невинным в мире лицом и положила упаковку обратно. — Не смотри, детка. Ты на себя посмотри: на тебе лица нет, одни скулы. Вчера ночью опять не спала?

— Нет.

— Ну вот. А я говорю, ты сама как этот пирог: тесто поднялось, а печь ещё не нагрелась.

Алиса хотела спросить про витамины, про серость, про руку. Она даже набрала воздуху. Но тут живот сдвинулся, поясница заныла, и вся её тревога снова вернулась к себе домой, к себе в живот, где было тихо. Она подумала: «Потом. После родов. Я её в клинику отведу, все обследования, все…»

— Я тебе кое-что приготовила, — сказала Нина.

Она ушла в комнату и вернулась с маленьким свёртком, перевязанным обычной суровой ниткой. Алиса развернула. На ладони у неё лежала крошечная шапочка. Жёлтая, как цыплёнок, с крохотным помпоном. А рядом пинетки, такие маленькие, что Алиса надела бы их на два пальца. Петли были неровные, где-то Нина ошиблась и распустила, и шерсть помнила эту ошибку тонкой складкой.

— Я неделями вязала. Сначала розовое, потом поняла, что чушь, она у вас будет не розовая. Она будет жёлтая, как цыплёнок.

— Ба…

— Глаза у меня слабеют. Спицы дрожат. Я вот эту петлю четыре раза спускала.

Алиса надела шапочку на кулак. Она села как влитая, мягкая, чуть колючая, пахнущая лавандой, и Алиса поднесла её к лицу и закрыла глаза. Из неё потекло само, без звука, просто потекло, по щекам и в чашку.

— Ну вот, — сказала Нина. — Началось. Все беременные одинаковые. Ты хоть чай мой не солёный делай.

— Ты тоже плачешь.

— Я не плачу. У меня глаз слезится от старости. — Нина промокнула глаз краем шали и строго добавила: — И не смей эту шапку никому показывать, пока не родишь. Примета.

— Какая?

— Моя. Я сама придумала, мне можно.

В прихожей загремело, в дверь стукнули, и густой, чуть дребезжащий голос произнёс:

— Позвольте, Ниночка! Это я, и со мной бисквит!

Савелий Маркович вошёл, опираясь на палку, в своём вечном клетчатом пиджаке с кожаными заплатами на локтях, в круглых очках, сползших на кончик носа. Портфель он держал под мышкой, как младенца. Седые брови поднялись при виде Алисы.

— Алисочка! Какая вы стали… цветущая.

— Савелий Маркович, это называется «огромная».

— Это называется «монументальная», — поправил он галантно. — Ниночка, вы знаете, я сегодня на рынке обнаружил клубнику. Настоящую. С запахом. Принёс, чтобы вы не говорили, что я прихожу без подарков.

— Я не говорю.

— Вы подразумеваете. Взглядом.

Они переглядывались, как два подростка. Алиса заметила на безымянном пальце Нины тонкое серебряное колечко, то самое, «Мы ещё не знаем», и у бабушки на миг порозовели щёки, и тут Алисе стало вдруг очень хорошо. Хорошо и спокойно, как не было уже давно. Вот кухня, лимоны на клеёнке, вишня, лаванда. Вот два старика, которым не нужно больше ничего доказывать. Вот шапочка на её руке. Жара, поясница, тревога — всё это отступило и стало далёким, как чужая гроза.

Она встала и пошла в комнату. Просто посмотреть.

Две картины висели над кроватью рядом, в тёмных рамах. Слева «Женщина у окна»: женщина в изумрудном платье с лицом, повёрнутым к морю, со светом на скуле, с недопитым чаем на подоконнике. Справа «Женщина у моря»: те же плечи, тот же поворот шеи, только волны вместо стекла, ветер, подол платья по песку. Их писал Арсений Раевский, с любовью, которая потом вышла боком им всем. Теперь обе висели в комнате, где пахло лавандой, и смотрели на узкую кровать под лоскутным одеялом, на фарфоровых слоников на комоде, на ящик с письмами. Алиса смотрела на них так, как смотрят на родственников.

— Ты долго на них не смотри, — сказала Нина у неё за спиной. — Они хитрые. Втягивают.

— Ба, я просто…

Нина подошла, встала рядом, ниже на голову. Потом взяла внучку за подбородок маленькой сухой рукой, пахнущей лавандой и лаком, и повернула к себе. Смотрела долго. Серые глаза проходились по лицу Алисы так, будто Нина читала страницу, которую собиралась запомнить наизусть: лоб, скулы, глаза, родинку у губы.

— Ты родишь легко, — сказала она наконец. — Я чувствую. А если страшно, то это ничего, детка. Страшно всем. Мне было страшно, когда твою маму рожала, и когда тебя на руки взяла, и когда Арсений письма присылал. Бояться — это значит помнить, как дорого.

— Ба, ты меня пугаешь.

— Я тебя утешаю. Это такая форма. — Она погладила Алису по щеке. — И ещё. Ты, Алисонька, всё в себе носишь, как сумку с кирпичами. Не носи лишнего. Места мало, а у тебя теперь двое.

— Я ничего не…

— Я не спрашиваю. Я говорю.

Алиса открыла рот и закрыла. Ей показалось на секунду, что бабушка всё знает. Про ладонь на животе и слабое шевеление, про тесноту и жару, про слова, оставшиеся на языке. Но глаза у Нины были просто глаза, серые, добрые, с красными прожилками, и в них стояла старость и нежность, и больше ничего.

Звонок в дверь прозвучал так, будто на пороге стоял пожарный.

— Алиска! Открывай, я с булками, я не могу в дверях стоять, они тёплые! — вопила Кира из-за двери, и, чуть тише, густо: — Кира. Тише. Люди.

— Какие люди? Это же родные!

Стас вошёл, пригнув голову под притолокой, чёрная футболка, татуированные предплечья, в руках огромный пакет с круассанами. Кира влетела следом, сверкая веснушками, в кроссовках, с короткими светлыми вихрами, торчащими во все стороны. Обняла Нину, чмокнула в щёку Савелия Марковича, стиснула Алису.

— Ты как? Не рожаешь? Не смей без меня! Я обещала Стасу, что буду держать тебя за руку, он сказал, что у него руки не те…

— Руки не те, — подтвердил Стас, пряча улыбку. Подошёл к окну, пощупал раму. — Скрипит.

— Она всегда скрипит.

— Починю.

И, не слушая возражений, достал из кармана отвёртку, потому что такой он был человек: в любом доме первым делом чинил то, о чём никто не просил.

Кира тем временем схватила Алису за локоть и потащила в коридор, к вешалке с пальто, где пахло нафталином. Лицо у неё стало странное: красное, вспотевшее, счастливое и перепуганное сразу.

— Слушай, — зашептала она быстро-быстро, дыша ей в ухо. — Я тебе скажу, только ты никому. Вообще никому. Стас не знает. Я хотела сначала… Я два теста сделала, два! Потом ещё на УЗИ ходила, там такая точка на экране, как запятая, и мигает! Четыре недели! Врач сказал, в мае. В мае, Алиска! Это же май! У нас все вишни цвести будут!

— Кира…

— Я не знаю, как ему сказать. Я придумала торт. С надписью. Только не знаю, какая надпись, «Привет, папа» это тупо, правда? — Она всхлипнула, засмеялась, снова всхлипнула. — Я идиотка. Я так счастлива, что у меня руки трясутся. Смотри.

Руки у неё и вправду тряслись. Алиса схватила их обеими ладонями. Перед ней стояла её подруга, которая ещё прошлой осенью думала, что никогда не сможет никому доверять, смешная, мокрая, с красным носом, и её лицо светилось, как лампа.

— Я никому, — сказала Алиса. — Клянусь. Поздравляю. Господи, Кира!

— Обнимай меня осторожно!

— Там пока ничего нет!

— Всё равно осторожно!

Они обнялись, прижавшись животами, одним пока огромным, другим пока невидимым, и это было так нелепо и так хорошо, что обе засмеялись и заплакали вместе, в тёмной прихожей, среди бабушкиных пальто.

— Что тут за рыдания? — крикнула Нина с кухни. — Пирог остынет!

Они пили чай до трёх. Савелий Маркович рассказывал, как в шестьдесят восьмом году потерял в поезде портфель, а нашёл его через двадцать лет в Одессе, у человека, который

решил, что это подарок судьбы. Стас починил окно и молча ел вишнёвый пирог третьим куском. Кира показывала, как изображает английского лорда. Нина училась говорить «My granddaughter is as big as a house» и ужасно гордилась собой. Алиса смеялась так, что у неё ныл живот, и каждый раз, когда она смеялась, ей казалось, что этот смех держит стены.

Уходя, она обернулась на пороге. Нина стояла в дверях кухни, маленькая, в шали, с седой прядью на щеке, и смотрела ей вслед.

— Ну, до завтра, ба.

— До завтра, Алисонька, — сказала Нина. — Беги. Береги её. И себя.

Глава 3. Гроза

Клубничный лёд таял быстрее, чем Алиса успевала его есть. Розовые капли бежали по деревянному стаканчику, по пальцам, по запястью, и она слизывала их, сидя на ступеньке перед люком на крышу и переводя дыхание. Семь последних ступенек. Раньше она взлетала по ним, как по детской горке. Теперь Максим шёл позади, на две ступеньки ниже, и держал ладонь у неё на пояснице, не подталкивая, а так, на всякий случай, как держат руку под падающей чашкой.

— Я не упаду, — сказала она.

— Я знаю.

— Тогда убери руку.

— Не уберу.

— Тиран.

— Да. Лезь.

Она вылезла. Крыша встретила её горячим деревом: настил за день напитался солнцем и теперь отдавал его обратно, как печка, и босым ногам было почти больно. Стеклянный парапет золотился. Максим расстелил клетчатый плед на двух шезлонгах, сдвинутых вместе, подложил подушки, поставил в ногах пластмассовое ведёрко со льдом, из которого торчало горлышко. Вино было для него. Одна бутылка красного, нераскупоренная, и один бокал, который он нёс на крышу двумя пальцами за ножку, как нёс бы птенца.

— Ты будешь пить?

— Полбокала. Если ты не будешь на меня смотреть, как на преступника.

— Я не смотрю.

— Ты смотришь краем глаза.

— Это профессиональное. Я владелец галереи, я всё разглядываю краем глаза.

Он открыл бутылку перочинным ножом со штопором, тем самым, которым чистил персик, и налил себе на два пальца. Сел. Она устроилась рядом, подтянув ноги на подушку. Ноги отекли так, что он, не спрашивая, взял одну в ладони и начал разминать ступню. Большие пальцы ходили по своду, по пятке, и Алиса закрыла глаза и застонала так, что сама смутилась.

— Тише, — сказал он. — Соседи подумают.

— Какие соседи? Тут чайки.

— Чайки сплетники.

Над морем стояла стена. Алиса сначала приняла её за гору: низкая, лиловая, с плотным, будто нарисованным краем, она росла прямо из воды и закрывала половину горизонта. Корабли в порту казались игрушечными на её фоне. Ветра не было совсем. Ни листика на липе во дворе, ни складки на флаге над таможней. Воздух стоял такой густой, что хотелось раздвигать его руками. Где-то очень далеко, внутри этой лиловой горы, на миг вспыхнуло и погасло, без звука.

— Раз, — сказал Максим.

— Что «раз»?

— Считаю до грома. Бабушка научила считать. Если до грома больше двадцати, она далеко.

— У тебя была бабушка?

— У меня был дед, который утверждал, что гроза — это Бог переставляет мебель. — Он усмехнулся. — А потом он говорил: «Не бойся, Максимка, он аккуратный, ничего не разобьёт».

Алиса вспомнила портрет, висевший у Нины, и подумала, что дед Арсений, наверное, и в самом деле так говорил, этим спокойным голосом, которым говорят те, кто уже разбил всё, что можно.

Она откусила лёд. Зубы свело.

— Расскажи мне что-нибудь, — попросил Максим. — Не про меня. Про твой день. Я с утра в галерее, мне нужен нормальный человеческий рассказ.

И она рассказала. Про Соню и табуретку с подушкой: «Представляешь, она её принесла из дома, я узнала, у неё на подушке кот вышит». Про купчиху в трёх слоях олифы: «Она на меня обиделась, я её бросила на самом интересном месте, у неё там пол-лица под тёмным лаком, я ещё не знаю, красавица она или грымза». Про Савелия Марковича и клубнику. Про то, как Стас чинил окно и молча съел три куска пирога. Про английское «My granddaughter is as big as a house». Максим хохотал, запрокинув голову, и вино плескалось в бокале.

— Она гениальна.

— Она гениальна, — согласилась Алиса. И вдруг сказала: — Она пьёт какие-то таблетки. Спрятала под клеёнкой.

Он сразу перестал смеяться.

— Какие?

— Не знаю. Сказала, витамины. Для памяти. Максим, она так прижала руку к груди, и лицо стало… — Она не нашла слова и показала ладонью, как лицо тускнеет. — Я хотела спросить. И не спросила. Потому что она так сказала «не смотри, детка», что я как дура отвернулась.

— Завтра я с ней поговорю.

— Она тебя съест.

— Пусть. Я невкусный. — Он поставил её ногу на подушку и взял другую. — Алиса. После родов мы её отвезём к кардиологу. К хорошему. Я найду. Хоть в Москву, хоть куда.

— Она не поедет.

— Поедет. Мы скажем, что Савелию Марковичу нужен консилиум.

Она засмеялась, и смех вышел с хрипотцой, а в горле стало горячо. Вот он какой, подумала она. Для всех ищет выход. Сумка у двери, маршруты по секундомеру, консилиум для старика, которого придумали пять минут назад. Он весь состоял из желания всех вытащить из любой воды.

Вспыхнуло ближе. Максим, не отрывая глаз от неба, зашевелил губами. Раз, два, три, четыре… Загрохотало на девятнадцати: низко, протяжно, как будто по лестнице спустили что-то очень тяжёлое. Чайки над парапетом разом поднялись и поплыли в сторону порта.

— Далеко.

— Пока далеко.

Она рассказала ещё. Что боится, как он на неё потом смотреть будет: «Ты же сейчас на меня как на хрусталь смотришь. А после родов я стану такая… ну, обычная. Грудь, пелёнки, тапки. Вдруг тебе станет скучно?» Он поднял на неё брови, хотел что-то ответить, но она замахала рукой: «Не отвечай, я знаю, что ты скажешь, что-нибудь красивое, а я потом полночи буду ему верить». Что вчера в магазине расплакалась над коробкой с хлопьями, потому что на коробке нарисован медвежонок. Что по ночам, когда он спит, она лежит и мысленно проходит по всей квартире и проверяет, нет ли где острых углов. Для кого? Для ребёнка, который ещё полгода будет только лежать. Что иногда ей кажется, будто она уже мать, а иногда будто кто-то перепутал адрес.

Она говорила и слышала себя со стороны: вот и всё, вот почти всё, что есть. Про самое главное она так и не заговорила. Оно лежало где-то под рёбрами, рядом с тем, что ей нельзя назвать, и если бы она открыла рот, оно бы вышло. А вместо него выходили хлопья и острые углы.

Максим слушал. Не перебивал. Только когда она закончила, потянулся, взял у неё размякший стаканчик и сказал:

— Мне тоже страшно. Ты знаешь.

— Знаю.

— Но я не боюсь, что ты станешь обычной. Я хочу, чтобы ты стала самой обычной, понимаешь? В тапках, с пелёнкой на плече, чтобы ты ругалась, что я не так держу бутылочку. Я только этого и хочу. Всю жизнь.

— Ты же сам обещал без красивого.

— Это не красивое. Это план.

Первая капля шлёпнулась на подлокотник, тёмная, жирная, величиной с монету. Вторая попала Алисе в плечо. Третья в вино. Потом сверху рассыпало сразу, тяжёлым тёплым горохом, и небо над морем лопнуло так, что стеклянный парапет загудел.

— Давай вниз! — крикнул Максим.

— Я не могу быстро!

— Не надо быстро!

Он подхватил плед, ведро, бутылку, потом бросил всё, кроме неё. Не на руки (она не позволила бы), а плечом, всем боком, как подпирают падающую стенку. Ливень стоял стеной, в ушах гремело, волосы мгновенно прилипли к лицу. Она смеялась. Нелепая, мокрая, с огромным животом, она спускалась по семи ступенькам в мужской футболке, облепившей её, как вторая кожа, а он держал её за локти и орал: «Осторожно, мокро! Осторожно!», будто она могла взять и улететь.

Внизу, в прихожей, они стояли, и с них текло на паркет. Максим отжимал рукав. Она посмотрела на него, на мокрые тёмные волосы, на шрам над бровью, по которому катилась вода, и вдруг подумала с абсолютной ясностью: «Как я его люблю». Просто так, без повода, как люди замечают, что на улице стало светло.

* * *

Она проснулась в два сорок.

Часы на тумбочке показывали два сорок одну, и зелёные цифры расплывались. Гроза ушла дальше, к городу, и бормотала там вполсилы. Окна были мокрыми. В комнате стоял свежий, чуть металлический запах дождя, и вентилятор, наконец, наработал себе прохладу.

Лежать было мокро.

Она подумала: воды. Всё. Началось. Она даже обрадовалась и испугалась сразу, и хотела уже будить Максима, и села, придерживая живот, и тут ощутила, как по бедру, по простыне, под ней расползается тёплое. Не прозрачное. Густое.

Она отбросила одеяло. В свете от окна пятно на простыне было чёрным. И живот, к которому она сразу приложила руки, был твёрдым, как доска. Весь целиком. И не отпускал. Схватка так не держит, схватка приходит и уходит. А это не уходило.

— Максим, — сказала она.

Голос получился ровный. Даже странно ровный, как у диктора, читающего прогноз.

Он проснулся мгновенно, как просыпаются солдаты. Сел. Посмотрел на неё, на простыню. Она видела, как его лицо сделалось белым в одну секунду, от шеи вверх, без единого слова.

— Кровь, — сказала она. — Максим. Это много.

— Лежи.

— Я лежу.

— Не вставай. Дыши. Я сейчас.

Он уже стоял, уже натягивал джинсы на голое тело, прыгая на одной ноге, и одной рукой искал телефон. «Клиника? Раевский. Жена, тридцать девять недель, кровотечение, везу. Да. Двенадцать минут. Да. Встречайте у входа». Он говорил спокойно, чётко, будто заказывал такси, и она слушала его и отдельно, где-то в стороне, думала: «Господи, какой у него голос. Таким голосом хоронят и спасают».

Сумка стояла у двери. Он подхватил её, швырнул в лифт, вернулся, поднял Алису на руки. Она всё-таки охнула: живот резануло так, будто в него вставили железный прут. «Прости,

прости», — бормотал он. Он прижимал её к груди, и она слышала, как колотится его сердце, быстро и гулко, как мотор.

В лифте была зеркальная стена. Алиса увидела их: огромного взлохмаченного мужчину с голой грудью и босым, как у мальчишки, взглядом, и женщину у него на руках, в мокрой футболке, с чёрным пятном на подоле. Она отвернулась. «Так не бывает, — подумала она. — Это не мы. Это кто-то другой».

На улице стеной стоял дождь. Не гроза уже, но ровный, густой ливень, и вода по булыжнику бежала потоком, и фонари стояли в ней, как свечи. Максим пронёсся по двору, ногой открыл заднюю дверь машины, уложил её на сиденье, подложил под спину сумку, сунул в руки куртку: «Держи». Хлопнул дверью. Сел за руль. Машина рванула так, что их обоих вдавило в кожу.

— Дыши, — сказал он, не оборачиваясь. — Слышишь? Вдох, выдох. Считай со мной.

— Я не… — Она вцепилась в ручку над окном. — Больно.

— Я знаю. Знаю, любимая. Четыре минуты. Три с половиной.

Дворники махали отчаянно и не справлялись. Мокрый город плыл мимо в красных и жёлтых разводах: светофор на Рыбачьей, закрытая кофейня Киры с мокрым зонтом над дверью, лужи, в которых вспыхивали и гасли огни. Красный. Максим не остановился. Позади что-то взвыло, кто-то прогудел, он мотнул головой, как бык. «Пусть. Пусть штрафуют. Пусть хоть задавят». Он нажал клаксон и держал, и по пустому проспекту прокатился долгий, вопящий гудок, и от этого звука ей почему-то сделалось спокойнее, как будто он гудел за двоих.

Она лежала на боку, подтянув колени, и держалась за живот. Обеими руками. Ладонями вниз, на тугую, горячую кожу.

И ждала.

Секунда. Две. Десять.

Она ждала пятку, перекат, ленивое «я тут». Хотя бы так, как утром, слабое и сонное. Ладони лежали на животе, и кожа под ними была твёрдая, как стол, и ничего не двигалось. Ничего.

«Это схватка, — сказала она себе. — Она сжата, ей некуда. Это просто схватка».

— Быстрее, — прошептала она.

Максим услышал.

— Быстрее, — повторил он, как эхо, и вдавил педаль.

Лидия Ивановна, дежурная акушерка, пятидесяти с лишним лет, круглая, невысокая, в синей форме и белых босоножках на толстых носках, стояла под козырьком клиники, и свет от вывески лежал на мокром асфальте. Каталка уже была готова. Рядом с ней стоял молодой врач с небрежно сдвинутой маской и санитар в клеёнчатой накидке. Максим выскочил, выволок Алису из машины и всё-таки положил на каталку сам, сам, никому не отдал, и всё это время она держала его за мокрый рукав, как держатся за борт.

— Что? Срок? Когда началось? — Лидия Ивановна смотрела на неё, не на него, и руки у неё уже ощупывали, считали, поворачивали.

— Тридцать девять и пять, — выговорил Максим. — Кровь. Много. Живот твёрдый. Двадцать минут назад.

— Шевелится? — спросила акушерка.

Алиса открыла рот.

Дождь стучал по козырьку, и каждая капля была как маленький молоток.

— Не знаю, — сказала она. — Не чувствую.

Лицо Лидии Ивановны ничего не выразило. Но руки её двинулись вдвое быстрее. «Везём. Вторая операционная. Дежурного анестезиолога сюда, сейчас. Кровь, группу, всё сразу». Каталка покатилась. Колёса громко стучали по мокрому кафелю приёмного покоя, под потолком мигала лампа, пахло хлоркой и чьим-то холодным кофе.

— Я с вами, — сказал Максим, бежавший рядом.

— Вы туда не можете, папа.

— Я с ней.

— Вы не можете, — повторила Лидия Ивановна и впервые взглянула на него. — Вот здесь стойте. Подпишите бумаги. Всё будет хорошо, мы делаем что нужно, стойте.

Алиса повернула голову. Она увидела, как он отстаёт. Как рука его, всё ещё протянутая, повисает в воздухе над краем каталки, пальцы чуть шевелятся, будто он перебирает что-то невидимое. Лицо у него было мокрое, и она не поняла от дождя ли.

— Я здесь, — сказал он. Или только шевельнул губами. — Алиса. Я здесь.

Двери распахнулись, и свет в коридоре ударил ей в лицо.

Глава 4. Белый коридор

Лампы шли над ней одна за другой, ровным рядом белых лун. Раз, два, три. Она считала их, потому что больше считать было нечего: потолок в коридоре, потом в лифте, потом снова коридор, и колёса каталки стучали на стыках плитки, как поезд на разъездах. Свет был такой, что слезились глаза. От него не спрятаться: он бил с потолка прямо в зрачки и вымывал из мира все цвета, кроме белого.

Лица над ней появлялись и исчезали. Все в масках, только глаза, только лбы. Чьи-то пальцы нашли у неё на сгибе локтя вену, и иголка вошла почти без боли, и сразу по руке пополз холод. Кто-то сказал: «Раствор открыть полностью». Кто-то: «Давление?» — «Девяносто на пятьдесят». — «Было сто двадцать, два дня назад». — «Сейчас восемьдесят».

Она хотела сказать, что у неё всегда сто двадцать на восемьдесят, что она вообще здоровая, просто жарко. Рот не слушался.

— Алиса! Алиса, вы меня слышите? Меня зовут Игорь Павлович, я анестезиолог. Мы сейчас вас усыпим. Хорошо? Вы просто уснёте.

— Дочка, — выговорила она.

— Всё сделаем. Вы просто дышите.

На лицо ей легла маска, пахнущая резиной и сладковатым, чем-то вроде больничной карамели. Над собой она увидела глаза хирурга. Серые, со стрелками морщин, усталые. Женщина. Вторая слева стояла у стола и звякала инструментами, и этот лязг был громче всего на свете.

— Отслойка, — сказала хирург негромко. Не ей. Своим. — Полная, судя по всему. Кровь на простынях, живот как камень. Мы опоздали минут на сорок. Режем срочно. Сердцебиение плода кто-нибудь слышит?

Пауза. Одна секунда тишины. Такой, в которой слышно, как капает вода из крана за стеной.

— Нет, — сказал кто-то.

— Ладно. Режем.

«Нет, — подумала Алиса. — Что значит нет? Это они про кого?»

Она попыталась поднять руку, коснуться живота, и рука не поднялась: на ней лежало что-то тяжёлое, чьи-то ладони, ремни. Холод дошёл до плеча, до горла. Стало легко и странно, будто она отделилась от стола и всплыла под потолок и оттуда видит: белую простыню в красных пятнах, и чей-то зелёный рукав, и блеск металла. Хирург что-то быстро говорила, почти по слогам, и слова выходили чужие, из другого языка: «Давление падает. Ещё два литра. Кровь вторую группу, везите, везите!»

Сквозь стену, откуда-то слева, шёл тихий размеренный шум. Она сначала не поняла. Потом поняла: море. Окна операционной выходили на Набережную, и за стеклом, за жалюзи, в темноте дышала вода. Ровно, глубоко, как большой спящий зверь. Дождь стих, и осталось только это: вдох и выдох, вдох и выдох.

Она послушала его. И подумала очень ясно, почти по-деловому: «Мне надо проснуться. Меня ждёт бабушка. Мы же договорились до завтра».

Голос Нины сказал прямо в ухо, с мягким присвистом на «ш»: «Ты родишь легко, Алисонька».

Потом море стало отходить. Медленно, как при отливе, оставляя после себя гладкий мокрый песок. Свет лампы свернулся в одну белую точку и погас.

* * *

Часы над дверью были огромные, круглые, как на вокзале, с красной секундной стрелкой, которая шла рывками. Максим смотрел на них уже двадцать минут. Или час. Стрелка делала шаг, останавливалась, делала шаг, и между каждым шагом помещалась целая жизнь.

Коридор был длинный, белый, пустой. По левую руку закрытые двери, по правую окно, в котором стояла чёрная ночь, а в ней одинокий фонарь на Набережной, мокрый, как собака. Вдоль стены пластиковые стулья серого цвета, прикрученные к полу. Автомат с кофе гудел в углу низко и неустанно. Пахло хлоркой. Пахло так, как пахнет везде, где людям страшно.

Он не сидел. Он прислонился к стене, потом отошёл от неё, потом начал ходить: шесть шагов до окна, шесть шагов обратно. Босые ноги в кроссовках, надетых без носков, натёрли пятку. Он на это не обращал внимания. Рубашки на нём не было, на голое тело он успел накинуть серую толстовку из прихожей, и теперь она висела расстёгнутой.

Руки.

Он посмотрел на них, остановившись у окна. Большие ладони, шрам у основания большого пальца, тёмные волоски на костяшках. На ладонях бурые полосы, высохшие, местами уже лопнувшие. Кровь. Её. Она попала на него, когда он нёс её по двору, когда клал на каталку. Он не заметил. Он вообще ничего не замечал, кроме её лица, белого, с зелёными глазами, в которых в последнюю секунду стоял странный, чистый, совершенно детский вопрос.

Он пошёл в туалет, открыл кран. Вода текла розовая. Тёр руки мылом, потом ногтями, потом снова мылом, так ожесточённо, будто хотел содрать кожу, и когда поднял голову, увидел в зеркале мужика с седым в свете ламп лицом и красными глазами, и тот смотрел на него без всякого выражения.

— Она выживет, — сказал мужик в зеркале. Вслух. — Она выживет. Всё будет нормально.

Мужик не ответил.

Он вернулся в коридор, и тут выяснилось, что больше всего на свете он не знает, куда деть руки. Заложил за спину. Сунул в карманы. Достал телефон, посмотрел на экран: три сорок две. Позвонил. Стас взял на втором гудке.

— Да.

— Это я.

Пауза, короткая. Стас никогда не спрашивал «что случилось», если в голосе звучало то, что звучало в голосе Максима.

— Куда?

— Клиника. Набережная. Кровотечение. — Он поймал себя на том, что говорит рублеными словами, как телеграфом. — Я не… Стас, я не знаю.

— Едем.

И всё. Короткие гудки.

Он стоял и смотрел на телефон, и вдруг по спине у него прошла судорога: ему захотелось сесть на пол прямо здесь, среди дождевых брызг на линолеуме, и больше не вставать. Он отогнал это. Сел на стул. Локти на колени. Лоб на кулаки.

Он думал о чаках. О чайках из войлока, которые кружились в детской на проволочках. О том, как утром поцеловал живот и сказал: «Без драм». О том, что обещал одиннадцать утра, среду, и это было вчера, нет, сегодня. О шапочке. О чём-то ещё, совсем глупом: что надо бы выключить вентилятор, он там один крутится в спальне.

Дверь в конце коридора открывалась, закрывалась. Проходила сестра, не поднимая глаз. Один раз он встал и пошёл за ней, и она обернулась: «Мужчина, сядьте. Мы сообщим». Он сел.

В четыре пятнадцать загремели двери лифта. Первой вылетела Кира. Плащ поверх пижамы с утками, кроссовки без шнурков, волосы дыбом, глаза огромные, как у перепуганной птицы. За ней, пригнув голову, вошёл Стас, в чёрной футболке, натянутой наизнанку, ничего не сказал, только быстро, глазами, обежал коридор: Максим, стул, часы, двери.

— Ну? — выдохнула Кира. — Что?

— Не знаю. Ничего не говорят.

— Она… — Кира замолчала. Прижала обе руки ко рту и ладонью, тихо, неосознанно, накрыла низ живота. Максим не сразу понял, что она делает, а потом отвёл глаза. — Алиска сильная, — сказала она через пальцы. — Она сильнее всех. Ты помнишь, как она с Викторией, как на крыше, ты же сам… Максим, она сильнее нас всех, слышишь?

— Слышу.

— Она выживет.

— Да.

Кира села рядом, схватила его за руку, и рука её была холодной и мокрой. Стас остался стоять. Привалился спиной к стене у окна, скрестил руки на груди и не сказал ничего, только смотрел на дверь в конце коридора. Желваки ходили у него под скулами. Время от времени он вынимал одну руку и проводил ладонью по голой макушке, сверху вниз, как гладят кошку.

Они молчали. Секундная стрелка шла. Кира начала плакать тихо, по-детски, сначала глазами, потом носом, потом вздрагивая плечами, но не отпуская его ладони, и он сидел и слышал рядом это маленькое сопение и не мог ничего сказать, потому что боялся, что если откроет рот, то закричит.

В четыре сорок кто-то прошёл к посту и позвонил по внутреннему. В пять одиннадцать за стеклом окна чёрное стало серым. В пять двадцать у Стаса зазвонил телефон, он вышел с ним на лестницу, потом вернулся и сказал, не глядя ни на кого: «Тамара. Спрашивает, не рожала ли, сон ей приснился». И замолчал.

В пять тридцать восемь дверь отворилась.

Он узнал её сразу: те же серые, усталые глаза, только теперь над ними сидела шапочка, а маска была спущена на шею. Зелёная роба в тёмных пятнах. Руки голые, вымытые, красные до локтей. Она вышла медленно, как выходят те, кто очень долго стоял на ногах, и закрыла за собой дверь осторожно, как закрывают дверь в детскую.

Максим встал. Он не помнил, как это сделал. Просто стоял и смотрел на неё, и коридор вокруг наклонился, и красная стрелка на часах прыгнула, и замерла, и прыгнула.

— Алиса? — спросил он.

— Жива, — сказала женщина. — Она в реанимации. Мы остановили кровотечение, потеряла много, перелили. Пока без сознания. Дальше сутки покажут.

Он выдохнул так, что в груди что-то хрустнуло. «Жива». Кира всхлипнула вслух. Но врач не двинулась с места и смотрела на него по-прежнему, и в глазах у неё не было облегчения, а стояло что-то ещё, и он это увидел и понял раньше, чем она заговорила.

— Максим Андреевич. Давайте присядем.

— Нет.

— Пожалуйста.

— Говорите так.

Она кивнула. Потёрла лоб тыльной стороной запястья, где остался красный отпечаток, и сказала тихо и ровно, без всякой лишней мягкости, потому что знала, что мягкость делает хуже:

— Девочка. Мы не смогли. Произошла отслойка плаценты, полная, быстрая. К моменту, когда вы привезли жену, сердце ребёнка уже не билось. Мне очень жаль.

Он стоял. Он слышал, как за спиной Кира издала звук, похожий на кошачий вскрик, и как Стас шагнул вперёд, и как гудит автомат с кофе. Всё это он слышал отдельно, как если бы его вытащили из комнаты и поставили на стеклянное расстояние.

— Это точно? — спросил он. Голос получился чужой. Вежливый.

— Точно.

— Вы… пытались?

— Мы сделали всё, что можно. Это никто не мог предсказать, — сказала она. — Так бывает. Это не вина ни ваша, ни её, ни врачей. Просто так бывает.

Просто так бывает. Он повторил про себя эти слова несколько раз и заметил, что они ничего не значат. Набор звуков.

— Можно к ней?

— К жене нельзя до утра, она под наркозом, в реанимации…

— К дочери.

Женщина посмотрела на него долго. Потом кивнула.

— Можно. Лидия Ивановна вас проводит. Но минутку. Дайте нам… нам нужно её подготовить.

Она ушла. Двери закрылись. Дверь, думал он, как удивительно, что дверь. Просто белая. Раньше он наивно считал, что такие двери должны быть какими-то другими.

Он не заплакал. Он обнаружил, что колени мягко, без боли, отказываются служить, как будто из них вынули кости, и что стена, к которой он прислонился плечом, медленно едет вверх. Он сполз по ней. Сел на линолеум, на пол, спиной к стене, ноги вытянул вперёд, в мокрых кроссовках без носков. Руки лежали на коленях ладонями вверх. Чистые. Розоватые после мыла.

— Максим, — услышал он где-то над собой.

— Максим! Ну… Максим!

Кира упала перед ним на колени и обхватила его за шею, зарыдала в голос, захлёбываясь, колотя кулаком по полу: «Нет, нет, нет, нет, не может быть, она же… я же…» Он позволил ей держаться. Рука его поднялась и легла ей на спину, сама собой, и осталась там, неподвижная и тяжёлая. Он смотрел поверх её макушки на противоположную стену, на плакат про мытьё рук, и считал шаги на этом плакате: один, два, три, четыре. Шесть этапов. Шесть. Потом снова.

Стас стоял, где стоял. Только развернулся лицом к окну. Плечи у него ходили, огромные, под чёрной тканью, и Максим видел, как он поднимает кулак и с силой, не стесняясь, вытирает им глаза, один раз, другой, как мальчишка, которого застали на кухне, и как потом упирается лбом в холодное стекло.

В коридоре стало светлее. За окном над морем проступала полоса, не красная и не золотая, а тусклая, цвета мокрой жести. Пришло утро. Он подумал, что оно, наверное, начало этот день ещё с вечера, на крыше, с клубничным льдом, и что оно просто не умеет остановиться.

— Папа, — сказала над ним Лидия Ивановна. Голос у неё был глухой, и круглое лицо стало сморщенным. — Пойдёмте. Я вас провожу.

Он поднялся. Стас придержал его под локоть, и Максим впервые за ночь посмотрел ему в глаза, и увидел, что тот всё знает, и что говорить нечего. Он кивнул. Один раз.

Потом пошёл за акушеркой по длинному белому коридору, мимо ламп, которые шли одна за другой, ровным рядом белых лун.

Глава 5. Потолок

На потолке было пятно.

Она увидела его раньше, чем поняла, что глаза открыты. Бледно-жёлтое, с рыжей каймой, оно расползлось по белой плитке неровным островом, и к нему тянулся снизу длинный полуостров, а справа отваливался кусок поменьше. Когда-то в этом месте протекла труба. Кто-то замазал, но замазал плохо, и вода всё равно проступила, как проступает имя под плохо смытой надписью.

Африка, подумала Алиса. Вылитая Африка. Вот Мадагаскар, вот рог.

Мысль была лёгкая и ватная. Она плыла сама по себе, и ничто её не держало.

Правая рука не двигалась. В сгибе локтя торчала игла, заклеенная пластырем с коричневым ободком, от неё вверх шла прозрачная трубка к мешку с красным. Второй мешок, с чем-то бесцветным, висел рядом. На указательном пальце сидела прищепка с огоньком. Левая рука была свободна. Она подняла её, медленно, будто та весила как кирпич, и положила на живот.

Живот был плоский.

Она лежала и слушала это просторное место. Прислушивалась изо всех сил: пятка, перекат, ленивое «я тут».

Ничего.

Рядом скрипнул стул.

Она не сразу повернула голову, шея затекла и не слушалась. Он сидел у кровати. Он, наверное, сидел там всё это время, потому что стул был придвинут вплотную, а колено его упиралось в раму. На нём была чья-то чужая больничная рубашка, голубая, слишком короткая в рукавах, и из рукавов торчали запястья со вздувшимися венами. Небритый. Щетина проступила не тёмная, а серая, как пыль. Под глазами лежали такие тени, что глаза казались провалившимися. И лицо, всё его лицо, было ровного серого цвета, как будто его вынули из воды и забыли высушить.

Он смотрел на неё и не говорил ничего.

— Привет, — прохрипела Алиса. Горло было сухое, как бумага. — Воды.

Он вскочил, налил из бутылки в стаканчик с носиком, приподнял ей голову ладонью, и вода потекла по подбородку. Она глотнула раз, другой. Вода была тёплая и пахла пластиком.

— Спасибо.

— Не за что.

— Ты весь серый, — сказала она. — Как мышь.

Он попытался улыбнуться. Лицо не вышло. Улыбка начала подниматься и осела, будто за нею не было никакой опоры.

— Алиса.

— Подожди. — Она смотрела на потолок. — Ты видел? Там Африка. Видишь, вон. Вот Мадагаскар. Наверное, в пятидесятом году протекло.

— Алиса.

— Где она?

Вот. Она сказала. Вопрос вышел простой и тихий, как «где мои тапки». Она ждала, что он ответит: «В детском отделении, всё хорошо, шесть баллов по шкале, лежит под лампой, ругается». Она даже придумала, что бы сказала на это.

Он сел. Не опустился, а именно сел, словно у него разом отпустили все пружины. Взял её свободную руку обеими ладонями. Руки у него были ледяные, и мелко, часто дрожали, и она ощутила эту дрожь, как ощущают работу двигателя сквозь пол машины.

Он открыл рот, и она увидела, что он не может.

И тогда она всё поняла.

Не из слов. Слов не было. Она поняла по тому, как он смотрит: так смотрят на человека, которому нужно сообщить, что дом сгорел, и который ещё стоит на пороге этого дома и не знает. По тому, как побелели костяшки на её руке. По тому, что он ни разу не сказал «она». Он вообще не мог сказать «она».

Внутри стало тихо. Не больно. Именно тихо, как бывает, когда в соседней комнате выключили музыку и ты только сейчас замечаешь, что она играла.

— Да, — сказала Алиса. Не спрашивая. — Понятно.

— Алиса, я…

— Не надо.

Он замолчал. Она услышала, как он вдохнул и не смог выдохнуть, и как этот неизрасходованный выдох застрял у него где-то в горле и стал мелко трястись. Сначала плечи. Потом вся спина. Потом он наклонился и лбом уткнулся в край её матраса, прямо у её руки, и она почувствовала, как намокает простыня. Он не издавал ни звука. Только дрожал и дышал ртом, как человек, который тонет и боится, что его услышат.

Она не закричала.

Странно. Она лежала на спине, и левая её рука, свободная, сама собой нашла его затылок, волосы, жёсткие, пахнущие дымом и больницей, и погладила один раз. Машинально. Так гладят по голове собаку, которая лежит у ног.

Потом перестала.

Смотрела в потолок. Мадагаскар. Рог. Рыжая кайма.

— Она была красивая, — сказал Максим в одеяло. Голос у него был сорванный, глухой, не его. — Очень. Я не знаю, зачем я тебе это… Я не должен был. Подожди, я…

— Нет. Скажи.

Он поднял голову. Глаза были красные, мокрые, веки опухли.

— У неё твои губы, — сказал он. — И нос мой. Бедная девочка. А волосы тёмные, много, прямо шапкой.

Алиса слушала и смотрела вверх.

* * *

Её перевели на следующий день, ближе к вечеру. Или на третий: она путала. Сутки в реанимации слиплись в серую ленту. Врач с усталыми серыми глазами, которая что-то объясняла про кровопотерю и «вам повезло, вы даже не представляете», и Алиса кивала и не слушала.

Её катили по коридору лампами вперёд, одна за другой, белые луны. В лифте она закрыла глаза.

Палата оказалась на четвёртом этаже, светлая, с кроватью у большого окна. Санитарка подняла жалюзи, и в комнату ударило море.

Оно лежало прямо под окном, за набережной и парапетом, без конца и без края, серо-стальное, с белыми барашками у дальнего мола, и над ним низко, пронзительно кричали чайки. Много. Они висели в воздухе, почти неподвижно, подставив крылья ветру, потом вдруг падали вниз и исчезали за краем парапета, потом вылетали вновь. Одна села на карниз и посмотрела на Алису круглым бессмысленным глазом.

Она отвернулась от окна.

Она не додумала.

— Я был с ней, — сказал Максим.

Алиса не повернула головы. Она смотрела на потолок. На ровное белое поле.

— Меня отвели в такую комнату, — продолжал он. Тихо, глядя на свои руки. — Маленькая. Тихая. Там стоит кресло и столик, и на столике лампа с жёлтым абажуром, и больше ничего. Сказали: «Здесь можно побыть». Её принесли в одеяльце. В белом таком, с зайцами. Я сидел, держал и… в общем, около часа. Может, больше. Я не смотрел на часы.

Он замолчал. Потёр ладонью лоб, и она услышала шорох щетины.

— Я с ней разговаривал, — сказал он. — Глупо. Я рассказал ей про нашу квартиру. Про море, что его видно из окна. Что мама у нас реставратор, умеет возвращать к жизни портреты и… Что на крыше есть семь ступенек, и что мы бы её туда, когда подрастёт, обязательно. И про чаек. Что одна у нас с кривой головой. Её звали бы Пьер.

Голос у него сломался на последнем слове. Он остановился, опустил голову, и она увидела, как капля упала ему на колено, на серую ткань, и расплылась тёмным кружком.

— Я не знаю, слышала ли она.

— Слышала, — сказала Алиса.

Она сказала это сама, не зная откуда. Голос вышел ровный, без выражения, как диктор радио. Ей самой стало не по себе от этого голоса.

— Спасибо, что ты там был, — сказала она. — Что ты не… что она была не одна.

Алиса смотрела в потолок.

Внутри не было ничего. Она ждала, что хлынет: вина, ужас, ярость, любое чувство, которое имеет название. Ни одно не приходило. Была чистая, ровная, голая пустота, как после пожара, в которой не осталось даже запаха гари. Вот это её нынешняя я, подумала она. Вот пустая комната, и в ней кто-то сидит на единственной табуретке и не знает, зачем.

Три часа, сказал где-то в глубине тихий голос. Три часа ты лежала и ждала. Вчера утром она стала двигаться реже.

Она не стала слушать. Закрыла за этим голосом дверь, и дверь встала на место с мягким щелчком, как в хорошо смазанном замке. Не сейчас. Не при нём.

* * *

Утром (было, кажется, девять, потому что в коридоре гремели тележки с завтраком) она сидела на кровати, откинувшись на подушки, и смотрела на чаек. Максим уехал домой принять душ и переодеться. Впервые за трое суток. Стас на пороге взял его за плечо и сказал «Пойдём», и Максим, как ни странно, пошёл.

Дверь тихонько отворилась. Она подумала: врач. Не повернулась.

Потом поняла, что в палате стало тихо иначе. Не так, как бывает, когда входит сестра или санитарка. Словно с порога на неё смотрели, и этот взгляд лёг на плечо, как ладонь.

Она повернула голову.

Нина стояла в дверях.

Она ничего не сказала. Алиса не сразу её узнала. Нет, не так. Узнала сразу, по шали, коричневой, вязаной, с бахромой, которую носила с шестидесятых годов, по седой пряди, выбившейся из пучка, по руке на косяке. Но женщина в шали была как будто другая. За три ночи она стала меньше ростом. Будто кто-то незаметно выпустил из неё воздух. Спина согнулась дугой, плечи ушли вперёд, и шаль висела на них, как на вешалке. Лицо стало серым, пергаментным, с глубокими бороздами возле рта, которых Алиса никогда не видела. Дышала она часто и неглубоко, и одной рукой держалась за косяк так, что пальцы побелели.

За одну ночь, подумала Алиса. Нет. За три. Она не спала.

Живые серые глаза остались прежними. Только теперь из них смотрело что-то очень старое.

В руках у Нины, прижатая к груди, как прижимают птенца, лежала маленькая жёлтая шапочка. Крошечная, с кисточкой на макушке и двумя завязками. Алиса помнила, как в июне бабушка вязала её вечерами, с очками на кончике носа, считая вслух петли и сбиваясь, и ворчала, что у младенцев головы устроены «не по ГОСТу».

Бабушка сделала шаг в палату. Шапочка в её пальцах качнулась.

— Алисонька, — сказала она.

На этом голос у неё кончился.

ЧАСТЬ

II
. «ДОМ БЕЗ РЕБЁНКА»

Глава 6. Выписка

Сумку принесла медсестра. Ту самую, синюю, с белой молнией, которую Алиса собирала ещё в июле, слой за слоем, как пирог: рубашки, носки, зарядка, мочалка, мелкие тёплые вещи для маленькой. Сумка была слишком лёгкой. Алиса поняла это раньше, чем взяла её в руки, по тому, как медсестра держала её двумя пальцами, будто боялась стряхнуть что-то с ручек.

Мелких вещей в ней не было. Кто-то вынул их заранее. Алиса не спросила, кто.

— Присядьте на дорожку, — сказала медсестра и тут же прикусила губу. Молодая, с плоскими усталыми глазами и крашеной чёлкой. — Ой. Извините. Я не то.

— Всё то, — сказала Алиса. — Давайте присядем.

Они обе присели: Алиса на край койки, медсестра на стул. Палата смотрела на них пустыми простынями. За окном, на уровне пятого этажа, висело плоское серое море, а над ним лениво ходили чайки, и от этого их ленивого хождения хотелось закричать. Пять дней она смотрела на эти птиц. Пять дней учила своё тело ходить: сначала до двери, потом до конца коридора, держась за стену и за живот, где под повязкой ныл свежий шов. Теперь тело ходило. Только не знало, куда.

Максим ждал у лифта. Она увидела его издали, сквозь стекло двери, и на секунду остановилась. Он стоял спиной, в мятой рубашке, которую носил, кажется, третий день, и разглядывал табличку с этажами, как будто там была написана какая-то важная правда. Плечи опущены. На затылке, над воротником, торчал вихор, который он обычно приглаживал мокрой ладонью. Теперь не приглаживал.

Он обернулся и шагнул навстречу слишком быстро. Руки поднялись и повисли в воздухе. Обнять? Взять сумку? Взять её за локоть? Он не знал, и она видела, что не знает, и вдруг ей стало почти смешно: двое взрослых людей, а стоят в больничном коридоре, как на первом свидании.

— Давай я, — сказал он и взял сумку.

— Она лёгкая.

— Всё равно.

Лифт ехал вниз так долго, что она успела пересчитать кнопки. Зеркальная стенка показывала ей женщину, которую она не знала: серое лицо, волосы скручены в кое-какой узел, под глазами два лиловых мазка, свободная футболка Максима поверх мягкого, чужого живота. Рядом в зеркале стоял высокий мужчина с седой нитью у виска. Раньше этой нити не было. Или была, а она не замечала.

Не замечала многого. Это она тоже поняла, пока ехал лифт.

На стоянке ударило жарой. Август не собирался сдаваться: асфальт дышал, как печка, пахло нагретой резиной и мокрой пылью от поливалки. Максим открыл ей дверь машины, и, садясь, она увидела на заднем сиденье то, что он забыл убрать. Или не забыл. Автокресло. Белое, с серой подкладкой, пристёгнутое ремнём, пустое.

Он тоже увидел. Лицо у него сделалось такое, будто он ударился обо что-то в темноте.

— Я сейчас, — сказал он. — Секунду.

Он вынул кресло одним рывком, дверь хлопнула, багажник открылся и захлопнулся. Алиса сидела и смотрела прямо перед собой, на приборную панель, на мелкую трещину в пластике у вентиляционной решётки. Руки на коленях. Тихие. Она слышала, как он за машиной дышит, коротко, с присвистом, и не повернула головы. Дала ему эту минуту. Это было единственное, что она могла ему сейчас дать.

Потом он сел за руль, завёл мотор и сказал:

— Окно открыть?

— Не надо.

— Включить музыку?

— Не надо.

Он кивнул и не включил. Они ехали через весь город в молчании. Мимо булочной, мимо рынка, мимо детской площадки у сквера, где качели ходили туда-сюда сами по себе, на ветру, и Алиса смотрела в другую сторону, пока сквер не кончился.

* * *

Дом встретил их запахом.

Она готовилась к тишине, к пустоте, к чему угодно, но не к запаху. Он стоял в прихожей плотной стеной: сладковатая пыль, лекарственная горечь, что-то вроде увядшей травы. На комоде, там, где ещё в начале августа она поставила банку из-под огурцов с астрами, торчали сухие коричневые прутья. Вода высохла до дна. Лепестки лежали вокруг банки, мелкие, как чешуя.

Пять дней. Всего пять. Как будто дом старел вместе с ней.

— Я хотел выбросить, — сказал Максим у неё за спиной. — Но потом подумал… Это же твои. Не знал.

— Выброси.

— Точно?

— Максим. Они мёртвые.

Она сказала это и услышала себя. Мёртвые. Слово упало на пол, как ложка, и они оба посмотрели на него. Он, не говоря ни слова, взял банку, ссыпал хрупкие стебли в мусорное ведро, вымыл банку в раковине и поставил на подоконник. Пустую. Алиса следила за его руками. Большими, осторожными, с этим белым шрамом у основания пальца. Они мыли банку так тщательно, будто от этого что-то зависело.

В квартире всё было на своих местах. Чёрный диван, клетчатый плед, лестница на крышу. Окна от пола до потолка, и море за ними, большое, ровное, бессовестно красивое. Только на кухонном столе стояла аптечная корзинка: таблетки, пакетики, шприц-ручки, записка рукой врача, а рядом лежал листок в клетку, исписанный быстрым, летящим почерком Киры. «Алиска. Бабушкина схема. Шалфей три раза в день, капустный лист в лифчик, холодный, не греть, пить меньше, не сцеживаться до упора, иначе будет приходить снова. Прости, что про это. Но кто-то же должен. Люблю. К.»

Алиса не сразу поняла, о чём это. А потом поняла.

В груди, под рубашкой, было тяжело и горячо. Грудь налилась ещё вчера, в палате, и ей объяснили, что это нормально, что это пройдёт, что нужно потерпеть. Нормально. Тело не читало заключения врачей. Тело сделало всё, как положено: приготовило молоко. Оно было готово кормить. Некого.

— Я в душ, — сказала она.

— Тебе помочь?

— Нет.

Ванная была белая, большая, с полотенцами, сложенными ровной стопкой. Его работа. Она заперла дверь, включила воду почти горячую и встала под неё, упираясь лбом в кафель. Вода стекала по спине, по рубцу, по груди, и грудь отзывалась болью, острой, как будто в неё воткнули тонкую иглу. Алиса закрыла рот ладонью. Вода шумела, и под её шум можно было плакать, не боясь, что услышат.

Она плакала сначала тихо. Потом не тихо. Потом так, что пришлось опуститься на корточки и вцепиться зубами в мокрое запястье. Плакала не о ком-то. Плакала всем телом, по-звериному, от того, что оно оказалось таким глупым и добрым. Молоко. Господи, молоко, для кого.

Когда вода начала остывать, она выключила кран. В дверь, с той стороны, кто-то сидел. Она слышала дыхание. Он сидел на полу в коридоре, прислонившись спиной, и молчал. Не стучал. Не звал. Просто был.

Она не открыла.

* * *

Вечером пришла посылка от Нины. Стас принёс. Огромный, в чёрной футболке, он вошёл бочком, как входят в чужую церковь, и держал перед собой кастрюлю, обёрнутую в клетчатое полотенце, а сверху на ней, как шапка, покоился сверток с пирогами.

— Нина Сергеевна, — выдавил он. — Велела. С капустой. И с яблоками. И записку.

Записка была на обороте старой открытки с видом Приморска. Крупно, дрожащей рукой, фиолетовой ручкой: «Алисонька, поешь хоть кусочек. Я рядом, через этаж не считается. Ба». Буквы заваливались вправо. Раньше они стояли ровно, как солдаты. Алиса держала открытку и смотрела на это «через этаж не считается» и вдруг заметила то, чего не должна была замечать: у бабушки задрожала не только рука. Дрожала мысль. Строчки шли вниз.

— Как она? — спросила Алиса.

Стас посмотрел на Максима. Максим посмотрел в стену.

— Держится, — сказал Стас.

— Стас.

— Бледная. — Он потёр бритую голову ладонью. — Таблетки пьёт. Савелий Маркович при ней. Не отходит. Сидит с палочкой и читает ей вслух. Что-то про Англию.

— Про Англию.

— Она учит. — Стас вдруг улыбнулся, неловко, одним уголком рта. — Говорит, пока ты лежишь, надо же чем-то заняться. А то в голову лезет.

Алиса кивнула. Лицо у неё онемело. Она взяла пирог, отломила кусочек, поднесла ко рту, и запах яблок и корицы, и ещё чего-то детского, ни с чем не сравнимого, шибанул её в горло так, что она едва успела отвернуться.

— Потом, — сказала она. — Я потом.

Когда Стас ушёл, она впервые за день прошла по квартире сама. Не глядя по сторонам, быстро, как по раскалённому песку. Спальня. Гостиная. Коридор. Дверь в конце коридора была закрыта. Дверь с лёгкой нежно-жёлтой наклейкой в виде облачка, которую Максим сам приклеил в июле, смеясь, что дочка должна знать, где её комната. Облачко осталось. Но теперь из-под двери не пробивалась щель света, и круглая медная ручка не поворачивалась.

Она нажала. Ещё раз.

— Я закрыл, — сказал Максим сзади, очень тихо. — Пока ты была там. Подумал… чтобы ты не вошла, пока не…

Он замолчал.

— Где ключ?

— У меня.

— Дай.

— Алиса.

— Дай мне ключ.

Он стоял в трёх шагах, большой, серый, с опущенными руками. В кармане джинсов, у бедра, топорщилось что-то маленькое. Он не достал.

— Я отдам, — сказал он. — Когда скажешь. Не сегодня. Пожалуйста.

И она, к собственному изумлению, не стала спорить. Прижалась лбом к жёлтому облачку, постояла и пошла прочь. Не потому что поверила ему. Потому что поняла: если дверь откроется сегодня, она шагнёт внутрь, а оттуда уже не вернётся.

Он вытащил оттуда всё, что мог. Она поняла это позже, ночью, когда пошла на кухню за водой и не нашла в прихожей ни коляски, которую они выбирали три выходных подряд,

ни пакетов с распашонками, ни пирамиды памперсов, ни разноцветных коробок от подарков Киры. Прихожая стояла голая, чистая, и только на стене, над зеркалом, осталась светлая полоска на обоях там, где висел календарь с красным кружком вокруг восьмого августа.

Красный кружок. Дата, которую они обводили вдвоём, дурачась, как дети.

Алиса стояла и смотрела на пустую полоску. Потом пошла и легла рядом с мужем, который лежал на краю кровати лицом к стене и притворялся спящим. И тоже притворилась.

Глава 7. Правильные слова

Омлет пригорел с одного края и остался сырым с другого. Максим стоял над сковородкой и смотрел на него так, как смотрят на чертёж, в котором не сходится одна цифра.

Шесть утра. Он не спал. Вернее, он спал урывками, по двадцать минут, проваливаясь в чёрное и выныривая от собственного дыхания. Потом вставал, шёл на кухню, чистил то, что уже было чистым, перекладывал то, что лежало ровно. Дважды за ночь поднимался по семи последним ступеням на крышу и стоял там у стеклянного парапета, и город под ним мигал красными огнями на башнях порта. Курить он бросил шесть лет назад. На третью ночь поймал себя на том, что держит в пальцах пустоту, как сигарету.

— Мы справимся, — сказал он вслух, сковородке.

Сковородка не ответила.

Он говорил это ей уже четвёртый день. Каждое утро. Каждый вечер. Врач в клинике сказала: «Говорите ей, что вы рядом. Не уходите в работу». Он не ушёл в работу, он отменил два вернисажа и отправил Стаса разруливать галерею. Он готовил, мыл, ходил по магазинам за йогуртами, которые она не ела. Он читал в интернете, что делать, если жена потеряла ребёнка, и нашёл двадцать советов, из которых запомнил три. Не спорить. Не торопить. Не говорить «всё к лучшему».

Он не говорил «всё к лучшему». Он говорил другое. И каждое слово, едва слетев с языка, казалось ему кривым, как гвоздь, который забивают в стену: не туда, не так, но молоток уже занесён.

На сковородке запахло горелым. Он выключил газ.

Алиса вошла босая, в его старой серой футболке, волосы сколоты на затылке одним карандашом. Остановилась у дверного косяка. Посмотрела на омлет, на него, на тарелки.

— Ты что-то готовил.

— Пытался. — Он повернул сковородку к ней. — Это называется «оригинальная подача».

Секунду она смотрела. Потом уголок её рта дрогнул. Не улыбка, тень улыбки, но он схватил её, как хватают птицу, которая села на подоконник: не шевелиться, не спугнуть.

— Ты бросил курить, — сказала она вдруг, — а пахнет, как будто курил.

— Это горелое.

— Это ты.

Она села. Взяла вилку. Съела три кусочка, медленно, жуя так, словно выполняла упражнение, и он сидел напротив и считал: раз, два, три. Четыре. Она отложила вилку.

— Вкусно, — сказала она.

— Врёшь.

— Вру.

Он засмеялся, и это был первый его смех за пять дней, короткий, хриплый, как скрип двери. Алиса вскинула глаза. В них мелькнуло что-то быстрое и страшное: не веселье, а испуг. Как будто смеяться ему нельзя.

И тогда он сказал то, что выбрал бы не говорить ни за что на свете.

— Мы справимся. Слышишь? Мы справимся. У нас ещё будут дети, Алиса. Врач сказала, что физически всё…

Он не договорил. Лицо жены закрылось. Не резко, не с хлопком. Медленно, как закрывают ставни в доме, где кто-то умер: сначала одна створка, потом другая.

— Хорошо, — сказала она.

— Я не то хотел…

— Хорошо, Максим.

Она встала, поставила тарелку в раковину, сполоснула. Вытерла руки. Ушла. Он слышал, как в конце коридора щёлкнул замок ванной.

Он остался с горелым омлетом и со своими руками. Руки были большие, пустые, с белым шрамом у основания большого пальца. Он уставился на них и думал: четыре дня назад они держали её. Они держали нашу дочь. Целый час. Они были тёплые, а она уже нет. И он ничего, ничего, ничего не может с этими руками сделать.

В нагрудном кармане лежал бумажник. В бумажнике, за водительскими правами, лежала карточка размером с игральную. Он не доставал её. Просто знал, что она там, как знают про больной зуб языком.

* * *

Она слышала всё.

Слышала, как он встал в пять. Как ходил по кухне, не включая света. Как открывал и закрывал холодильник, как тихо, на цыпочках, прошёл мимо спальни, как поднялся на крышу. Слышала и то, как вернулся: с холодом на одежде, с запахом ночного воздуха и железа. Лежала с открытыми глазами и слушала свой дом.

И слова. Она слушала его слова.

«Мы справимся». Кто это — мы? Мы лежали в разных местах. Он в коридоре, а я на столе, под лампами, и не слышала ничего, кроме собственной крови. «У нас ещё будут дети». Она понимала, что он хотел сказать. Правда понимала: что она не одна, что у них есть будущее, что он не уйдёт. Он хотел положить ей на рану ладонь.

Но слышала она другое. Слышала: «Твоя боль не важна. Она пройдёт. Вот увидишь. Нам нужно только подождать, пока ты заменишь одну на другую». Это было несправедливо, она знала, что несправедливо, и всё равно слышала. Как будто в ухо вставили глупую маленькую ракушку, которая переводит любую фразу в самую страшную.

На третий день она попросила:

— Покажи мне, где она.

Он замер. Это было вечером, на кухне, он резал огурцы для салата, и нож остановился на полуслове.

— Кто?

— Нина, — сказала Алиса. — Наша Нина. Где ты её…

Она не смогла закончить. Горло не пустило.

Максим положил нож. Вытер руки о полотенце. Очень долго вытирал.

— На Приморском кладбище, — сказал он. — Под клёном. Там тихо. Хорошее место. Я выбирал сам. Камень белый, маленький… — Голос у него упал. — Когда будешь готова, я тебя отвезу. Когда будешь готова, ладно? Не надо торопиться.

— Я не тороплюсь.

— Я знаю.

— Я прошу.

— Знаю. — Он взглянул ей в лицо, и она увидела, как тяжело ему дается каждое слово. — Но, Алиса, не сейчас. Пожалуйста. Давай ты сначала… окрепнешь. Хорошо?

Она кивнула. Он принял кивок за согласие. А она кивнула потому, что внутри у неё что-то скрипнуло и опустилось. Он выбирал сам. Он держал её. Он выбирал место. Он знает, где она лежит. А она, мать, не знает ничего: ни как выглядело её лицо, ни какие у неё пальцы, ни пахнет ли она молоком. Он просто взял и унёс этот кусок их общей жизни, как ящик из дома, и теперь говорит: «Когда будешь готова».

Готова. К чему? К тому, что у него есть, а у неё нет?

* * *

В мастерской было прохладно и пахло скипидаром. Белые стены, высокие потолки, дубовый стол в пятнах краски. Колокольчик над дверью звякнул так звонко и радостно, что Алиса, вошедшая в него впервые за две недели, вздрогнула.

Соня стояла у стеллажа с банками. Двадцать два года, худенькая, коротко стриженная, в мятом комбинезоне, с фотоаппаратом на шее, как у других на шее крест. Она обернулась, и Алиса увидела, как у неё поплыло лицо: сначала радость, потом страх, потом жалость, и всё это за один вдох.

Соня не сказала «Как ты?». Не сказала «Мне так жаль». Не бросилась обнимать. Она тихо поставила банку на полку, подошла и остановилась на расстоянии вытянутой руки. Так подходят к птице с перебитым крылом, которая сидит посреди тротуара, и не знаешь, схватить или оставить.

— Чай? — спросила Соня.

— Да.

— С мятой или с чёрным?

— Мне всё равно.

— Тогда с мятой. Он, говорят, успокаивает. — Соня замялась. — Не то чтобы тебе нужно успокаиваться. Просто… Я пойду заварю.

Она ушла за ширму, где стоял электрочайник. Загремела чашками слишком громко. Алиса прошла к мольберту. На нём стояла икона Святого Николая, почти законченная: лик, строгий и усталый, золотистая охра, мягкие складки облачения. Она смотрела на него и ничего не чувствовала. Раньше рука сама тянулась к кисти. Теперь рука лежала на коленях, как чужая вещь.

В углу, на столе, стояла кружка. Её. Белая, с отбитой ручкой, с засохшим пятном кобальта на ободке. Соня не мыла. Соня сохранила.

Алиса вдруг подумала: «Дом, в котором меня больше не ждут, я ещё пойму. А это». Она подняла кружку и увидела, что кобальт засох ровно в том месте, где она всегда подносила её к губам. Крошечный синий отпечаток её рта. Она смотрела на него, смотрела, а потом села на табурет, прижала кружку к груди обеими руками и заплакала так тихо, что чайник за ширмой, закипев, показался грохотом.

Соня вернулась с двумя чашками и поставила их на стол. Села на соседний табурет. Не говорила ничего. Потом протянула свой рукав: старый, в пятнах масла, с торчащей ниткой. Алиса, не думая, взяла за него, как берут за ручку двери. Они просидели так минут десять.

— Он там? — спросила Соня наконец. — Максим Андреевич. Он ведь тебя ждёт?

— Он всегда ждёт, — сказала Алиса.

— Это плохо?

— Не знаю.

— Мой отец, когда мама умерла, — Соня смотрела в свою чашку, — тоже всё время что-то делал. Чинил. У нас дома три раза поменяли кран. Я его спрашиваю, пап, зачем, а он говорит: течёт же. А не течёт. Ничего не течёт. Просто больше нечем было заняться.

Алиса подняла глаза. Соня покраснела до ушей.

— Извини. Я не умею… Я про другое.

— Ты про то самое, — сказала Алиса. — Спасибо.

Они допили чай. Алиса надела рабочий халат. Взяла кисть. Рука дрожала, и она долго не могла положить первый мазок, а потом положила, маленький, на край облачения, и посмотрела на него, как на что-то живое.

Работа не лечила. Она просто давала рукам место, куда деваться.

Глава 8. Ключ

— Грузчики придут в субботу, — сказал Максим.

Он сказал это в сторону, в тарелку, и тут же понял, что начал не с того конца. Он репетировал. Весь день в галерее, куда впервые вырвался на четыре часа, он репетировал, расхаживая по пустому залу и разговаривая с портретом дамы в сером. Начинал издалека, с погоды, с курицы в духовке, потом осторожно подводил. А вышло как вышло.

— Какие грузчики? — спросила Алиса.

Курица была удачной. Он гордился ею втайне, как мальчишка пятёркой: золотистая корка, чеснок, лимон. Алиса съела кусок, один, и отодвинула тарелку к краю стола. За окнами от пола до потолка уже второй час шёл дождь. Первый за месяц. Жара сломалась ночью, море потемнело и поползло на берег, а по стеклу текли такие толстые струи, что город за ними плыл, как в плохом сне. Она сидела боком к этому дождю и смотрела на свои руки.

— Я нашёл людей, — сказал Максим. — Аккуратных. Они всё разберут, вынесут, упакуют. Кроватку, комод, мобиль. Ты даже не увидишь. Тебя в субботу не будет, ты уедешь к Нине, или в мастерскую, а когда вернёшься…

— Что?

— Там будет просто комната.

Он сказал «просто комната» и сам услышал, как это звучит. Как «просто море». Как «просто рана».

— Ты зайдёшь, а там ничего нет, — продолжил он быстрее, как человек, который бежит по льду и боится остановиться. — Ничего, что бы тебе напоминало. Я подумал, так будет легче. Не каждый день проходить мимо двери. Я же вижу, как ты проходишь. Ты по стенке идёшь, Алиса. Как по краю.

Она подняла глаза. Очень спокойные.

— Ты открывал её?

— Что?

— Комнату. Ты в ней был?

Врать он не умел. Вернее, умел в бизнесе, с покупателями, с оценщиками, с налоговой. Дома не получалось.

— Один раз, — сказал он. — Пока ты лежала. В ту ночь, когда… Я вернулся из клиники за вещами и зашёл. Постоял. Минуту.

— Минуту.

— Ну, может, десять. Не помню.

— Ты стоял там, — сказала Алиса. Тихо, раздельно. — В её комнате. Без меня.

— Алиса.

— Дай ключ.

— Нет.

Слово вылетело у него само. Он увидел, как у неё дёрнулась скула, и торопливо добавил:

— Не сейчас. Не так. Давай обсудим. Я не хочу, чтобы ты там оказалась одна и…

— Дай мне ключ.

— Я не могу. — Он сжал ладонью край стола. — Потому что ты не выдержишь. Я не хочу смотреть, как ты… Я слишком хорошо помню, что было там, в ванной. Ты думаешь, я не слышал? Я сидел за дверью. Я всё слышал.

— То есть ты решаешь, — сказала Алиса, — что я выдержу, а что нет.

— Я решаю, что тебе лучше.

— Лучше.

— Да. Чтобы тебе не было больно. Чтобы мы могли жить дальше, понимаешь? У нас ещё…

Он остановился. Слишком поздно.

Она закончила за него:

— Будут дети.

В кухне стало слышно, как дождь колотит по крыше. Как тикает холодильник. Максим открыл рот, и закрыл, и потёр лоб ладонью. Хотел что-то сказать, и по лицу видно было: самое умное, самое правильное, то, что выручило бы обоих. Но слов не нашлось.

— Алиса, я не это…

— Ты всё время «не это», — сказала она.

Голос у неё не дрожал. Это было хуже всего. Дрожал стол. Это она ударила по нему ладонью, и подпрыгнула вилка, и тарелка с недоеденной курицей съехала к краю. Алиса схватила её, не глядя, и швырнула в раковину. Фарфор взорвался о нержавейку. Осколки брызнули по полу, один вскользь царапнул ей ногу.

— Я не хочу другого ребёнка! — крикнула она. — Я хочу эту! Эту, понимаешь? Её! Ты можешь мне объяснить, как это — заменить? Как лампочку? Выкрутил, вкрутил? «Будут ещё». Да я не хочу «ещё»! Ты вынес из дома всё, ты выбросил цветы, ты убрал календарь, ты разгрёб, как будто там пожар, а там не пожар, там она жила! Девять месяцев!

— Я знаю.

— Ничего ты не знаешь!

— Я знаю, что ты…

— Ты. Знаешь. Где. Она. Лежит.

Он замолчал.

— Ты выбирал камень. Ты выбирал место. Ты со всеми поговорил, всё устроил, а мне ничего не сказал, потому что я была в трубках, вся, как робот. И ты решил: пусть спит, пусть не знает, как лучше. Ты всё решил. И всё у тебя было, да? Пока я лежала? Ты один был, ты один видел, ты…

Она набрала воздуха и сказала то, чего потом не смогла забрать назад ни за какие деньги:

— Ты держал её, а я нет.

Она увидела, как это попало.

Не сразу. Секунды две он стоял, как стоят после выстрела, когда ещё не больно. Потом кровь ушла с лица. Не побледнел, а выцвел, как фотография на солнце. Шрам над бровью стал виден, тонкая белая черта, которую она знала наизусть, которую целовала в мае, в то самое утро, когда они ходили в загс, а потом ели пирожные на скамейке.

— Да, — сказал Максим.

Просто «да». Спокойным, мёртвым голосом.

— Держал, — повторил он. — Ты права.

Он наклонился, поднял с пола осколок, самый большой. Рассмотрел. Положил на стол. Потом пошёл за веником, и по тому, как медленно он шёл, она поняла, что он сейчас сделает: молча подметёт. Соберёт каждую крошку. Вымоет пол. И потом никогда не напомнит.

Это было невыносимо.

— Скажи что-нибудь, — сказала она.

— Что?

— Накричи. Ударь меня. Я не знаю. Что-нибудь!

— Я не буду на тебя кричать.

— Почему?!

— Потому что ты правда не держала, — сказал он, не оборачиваясь. — И это правда ужасно. И я бы всё отдал, чтобы поменяться. Всё, Алиса. Не шучу. Хоть сейчас.

Она не помнила, как оказалась в спальне. Не помнила, как из шкафа выпала синяя сумка с белой молнией, та самая, больничная, так и не разобранная, и как она сгребала в неё что попало: свитер, джинсы, зарядку, расчёску, кошелёк, паспорт. Она металась, как птица, залетевшая в комнату, билась в стёкла, и руки у неё ходили ходуном.

Он стоял в дверях. Не мешал.

— Ты куда?

— Не знаю.

— На улице ливень.

— Мне всё равно.

— Давай я отвезу. — Он говорил совсем тихо. — Куда скажешь. К Кире, к Нине. Только не одна, не в таком виде. Пожалуйста.

— Не надо меня возить.

Она застегнула молнию. На шее, на цепочке, качнулся серебряный ключ. Она на секунду сжала его в кулаке, холодный, острый по краю. Подарок Максима. Ключ от мастерской. От всего, что у неё было. А тот, второй, маленький, медный, от закрытой двери, лежал у него в кармане. И сколько ни держи у себя один ключ, второй всё равно не открывается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.